

---

*Ж. Нива*

## МОЙ РУССКИЙ ПАРИЖ<sup>1</sup>

Русская эмиграция... Моя первая встреча с русским языком — это одновременно встреча с русской эмиграцией. Не в Париже, а родном моем Клермон-Ферране. В журнале «Знамя» я опубликовал текст «Подарок Георгия Георгиевича: жить русским языком» (2009. № 2). Георгий Георгиевич Никитин был уроженец Кубани, воевал на стороне Деникина как новобранец, бежал из сумасшедшего Истамбула, добрался до Марселя и наконец попал в Овернь. Я слышу его раскатистый громкий голос. Мы читали сказки Пушкина и детские рассказы Толстого. Он часто крестился, был грекокатоликом, порой ездил в Париж и навещал грекокатолического епископа в церкви Сен-Жюльен-де-Повр. Он открыл мне южную, провинциальную Россию (Россию «Августа Четырнадцатого»), Гражданскую войну и ее свирепство. На его примере я понял, что такое — эмиграция: бегство, нищета, принужденное приобщение к другому миру, а в сердце потайной — склад: детство, Пушкин, вера...

Замечательный поэт Иван Елагин пишет:

Эмигранты, хныкать перестаньте!  
Есть где наконец душе согреться:  
Вспомнили о бедном эмигранте  
В итальянском городе Ареццо.

*(«Невозвращенец»)*

Из-за эмигранта Данте ли, бежавшего в Ареццо, любили русские эмигранты Италию? Не знаю, но многие любили ее из тех, с кем я был знаком, я дружил: Николай Оцуп, Сергей Маковский, Георгий Адамович, Александр Кусиков, Владимир Вейдле, Юрий Иваск, Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Иосиф Бродский...

Оцуп преподавал в «Эколь Нормаль» на Ульмской улице в Париже. Не преподавал — вещал, пророчествовал. Его «Дневник в стихах» (1950) как бы поэтический концентрат русской эмиграции. Перемешаны культуры и языки русской эмигрантской планеты. Онегинская строфа сокращена на одно четверостишие: простор европейский — уже, чем русский...

---

<sup>1</sup> Статья написана на основе доклада, прочитанного 1 декабря 2010 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на международной научной конференции «Русский Париж между двух мировых войн». — *Ред.*

Давно угасли Афины, думает поэт-эмигрант и далее размышляет:

Кто же им наследует? Москва?  
 Уж скорее Спарта: знамя вьется,  
 Как в бою... Америка нова  
 Для седин и лавра... Остается...  
 Неужели все-таки Paris?..  
 Наша одряхлевшая Сорбонна,  
 Две-три строчки Поля Валери  
 Грустных, как Вандомская колонна:  
 Царственно упадочная страсть  
 Сохранить утраченную власть.

Я чувствовал в русском Париже эту грусть, эту «скорбь» и это ехидство. Студентом я навещал благородного «старца» русской литературы в эмиграции, Бориса Константиновича Зайцева. Читал его книги об Италии, его «Реку времен», его «Звезду над Булонью». Через него, как через Александра Бахраха или Зинаиду Шаховскую, была обманчивая близость с Буниным. С Ремизовым через Наталью Кодрянскую и Наталью Резникову. Да еще с Мережковским и Гиппиус через Юрия Иваска или Нину Берберову<sup>2</sup>. Да и мой профессор в Сорбонне, Пьер Паскаль, также хорошо знал Ремизова и дружил с Бердяевым (пригласил его выступить перед студентами — не предупредив их о том, что тот заика, и они хохотали весь урок).

Была моя география русского Парижа: книжная лавка «Éditeurs Réunis», где директором был Иван Морозов, потом трагически не вынесший появления Александра Солженицына и давления новой ответственности. Книжная лавка «Дом книги», где царствовал хозяин — тучный, громкоголосый и очень, в конце концов, доброжелательный Михаил Семенович Каплан<sup>3</sup>. Я знал наизусть главные залежи книг, они вообще мало меняли место. Третья лавка, рядом со Школой живых восточных языков, называлась «Cinq Continents». Хозяин там был г-н Генджан, а он, как и Каплан, как и Морозов, не только продавал, но также издавал книги. А толстый и болтливый завсегдатай «Cinq Continents» Дубровкин был звездой этого третьего «русского салона». Ибо в каждой лавке были свои завсегдатаи, свой салон, свой приход, свой главный болтун. А мы, начинающие слависты, перед ними робели и благоговели. Была и русская консерватория, со своей дешевой студенческой столовой. Там прошел торжественно юбилей Бориса Зайцева, а когда я в Москве был на юбилее Сельвинского, мне стало понятно, что обряд был и тут и там один и тот же, идущий от России XIX века, со своим культом русского писателя.

Бывал я и в одном кафе на Елисейских Полях, где несколько раз назначал мне свидания черный как ворон Георгий Адамович. Он говорил о Блоке и Белом как о живых. «Кто это мы? — спрашивает он в «Комментариях». — Мы — три-четыре

<sup>2</sup> Я мог бы привести и Темиру Пахмус, но с ней я не дружил и даже мало имел к ней доверия (как к мемуаристу).

<sup>3</sup> А в другом углу темного помещения стоял или сидел долговязый его вечный подчиненный — Иван Федорович (Санчо и Дон Кихот).

человека, еще бывшие петербуржцами в то время, когда в Петербурге умер Блок, позднее обосновавшиеся в Париже; несколько парижан младших, иного происхождения, у которых с первоначальными “нами” нашелся общий язык».

Адамович — как позже и Ася Тургенева в Дорнахе — дал мне почувствовать как бы тайную близость с Белым, над которым я работал.

Оцуп дал мне то же ощущение «близости» с Гумилевым, и то же самое дал мне странный поэт — донжуан Александр Кусиков в отношении к Есенину и к Белому (у него был бурный роман с Асей после отъезда Белого в советскую Россию). Он жил на последние копейки от состояния, унаследованного от своего отца, кавказского князька, и полностью промотанного. Он с элегантностью читал вслух свою почти единственную поэму «Зеркало Аллаха».

Мой русский Париж — это и впечатляющая царственная фигура Сергея Маковского, бывшего издателя «Аполлона», сына знаменитого художника, автора «Серебряного века», «Портретов современников» и еще семи изящно изданных сборников стихов, которые он мне подарил. Его элегическая муза была более направлена к Италии, чем к Франции. Но одно страшноватое стихотворение посвящено Музею человека (Musée de l'Homme): поэт смотрит на скуластого низколобого своего далекого предка и пишет: «Я зверя узнаю в своей крови». У него был дом под Парижем, в шикарнейшей деревне Монфор-Ламори, и пейзаж этой тихой французской провинции больше воодушевлял этого поэта-элегиста, чем воспоминания о русском пейзаже.

Маковский рассказывал многое о том, как он правил произведения русских литераторов, когда он был главным редактором «Аполлона». Я переводил на французский язык его неизданный текст о Гумилеве, послал мой перевод Анне Ахматовой, получил похвалу своим стихам и хулу на злой характер и дурную память Маковского.

Александр Бахрах в своей буржуазной квартире принимал очень по-барски, много рассказывал о Белом (в его книге «По памяти, по записям» это глава «Ночь с Андреем Белым»), о Марине Цветаевой в Париже и об отце «Аполлона» — то есть о Маковском. Он следил за всем, знал все и всех и считал себя не эмигрантом, а европейцем.

Европейцем был и Владимир Вейдле. Он даже, бывало, лучше писал по-французски, чем по-русски. «La Russie absente et presente», «Les Abeilles d'Aristée» написаны изящно, остроумно. «Задача России» — русский вариант первой книги — неуклюже. Языковая дистанция дала ему возможность писать на вечные русские темы без русского пафоса. Он был одним из организаторов конференции в знаменитом Серизи-ля-Саль в 1968 году. Тенора русской эмиграции участвовали в прениях о «великом русском столетии»: Борис де Шлёцер (переводчик Шестова и музыковед), Владимир Вейдле, Георгий Адамович. «Десятидневки» Серизи-ля-Саль имели некое русское ядро: Евгения Каннак<sup>4</sup> и Раиса Тарр<sup>5</sup> были близкими

---

<sup>4</sup> Автор воспоминаний под заглавием «Верность» (Париж, 1992).

<sup>5</sup> Раиса Тарр (Татарина) была переводчицей нескольких книг философа Александра Койре (Koyré). Своей многогранной широкой личностью Раиса Тарр персонифицировала целую эпоху симбиоза русской и французской философии.

приятельницами жены учредителя «десятидневок» (сначала в Понтиньи, а после войны в Серизи-ля-Саль). Подружившись с Раисой, я вошел в это негласное русское ядро. Это позволило мне организовать две «декады» — в 1973 году о Солженицыне с Марком Слонимом, с незабываемым Петром Равичем (поляком, пережившим Аушвиц, автором книги «Кровь неба»), с Михаилом Евдокимовым и еще с замечательным французским православным богословом Оливье Клеманом. «Декада» состоялась накануне высылки Александра Солженицына, в момент острого напряжения, когда чувствовалось, что единоборство между писателем и советской тиранией должно скоро как-нибудь кончиться.

Еще через пять лет удалось организовать большую и знаменательную «декаду», на этот раз о Борисе Пастернаке.

Эта третья русская «декада» собрала представителей первой и третьей эмиграции: Андрей Синявский активно выступал, и можно сказать, что встреча состоялась. (Не всегда было так! Четвертая встреча, которую я организовал в Женеве под заглавием «Одна или две русские литературы», была ареной острых стилистических баталий. «Красивый» стиль первой эмиграции, в особенности Вейдле, подвергался ехидному обстрелу третьей эмиграции.)

«Фантастические рассказы» Абрама Терца были опубликованы Польским литературным институтом при участии легендарного «литературного маршала» польской эмиграции в Париже (и в мире) князя Ежи Гедройца. Я был вхож в этот фаланстерий культуры в Мезон-Лафите благодаря моей дружбе с Юзефом Чапским, художником, другом Ахматовой по Ташкенту, автором «Нечеловеческой земли». Элита польской эмиграции в Париже была русофильской и активно интересовалась советским диссидентством. Это особая глава русского Парижа, часто игнорируемая. Журнал «Культура» («Kultura») трижды выпустил особые русские номера, посвященные России и русско-польским отношениям (на русском). Я в них участвовал, а их «архитектором» был историк-эмигрант Михаил Геллер (Heller), автор книги «Утопия у власти». Чета Геллеров — Евгения и Миша — нам всем, французским славистам, приносила совершенно новый воздух, прошедший через испытание лагерем, через подпольный лабиринт советского диссидентства. Франция не особенно их взлелеяла, кафедр не дала. Но Геллеры не были злопамятны и щедро делились своими огромными знаниями по истории, литературе, кино со всеми собеседниками. Так что их квартира на улице Сент-Уан тоже часть нашего русского Парижа.

С новой политикой генсека Леонида Брежнева в 1974 году, то есть с решения выслать почти всех диссидентов за границу, начинается новая часть, новая глава моего русского Парижа. Владимир Максимов и его Интернационал Сопротивления, Виктор Некрасов и его «Записки зеваки», Мария Розанова и Андрей Синявский в их заброшенном буржуазном особняке в Фонтене-о-Роз, где некогда жил Гюисманс. С Виктором Платоновичем я часто встречался, то в Женеве, то в VI аррондисмане, в ныне исчезнувшем кафе «LAmiral». Он действительно был зевакой талантливым. Почти гениальной зевакой. Редко кто из русских эмигрантов так умел смотреть на Париж. За исключением Нины Берберовой, которая в книге «Курсив мой» описывает тот русский Булонь-Бийанкур, который входит в картины и гравюры Григорьева, а также Юрия Анненкова и стал частью Парижа вообще.

Все-таки главной фигурой для меня в этом Париже третьей волны был Ефим Григорьевич Эткинд. Он был старше меня. Но наша дружба была так тесна, что возрастная разница исчезала. О нем я много писал. Мы много делали, вместе делали. Он принес с собой воздух диссидентского Ленинграда, его переместил в Париж, свою «переводческую мастерскую». Он был наилучшим образцом той советской элиты, которая унаследовала русский дух «просветительства», как-то приспособившись к большевистской диктатуре. Слияние полного атеизма и изящной поэтической культуры представляло собой нечто удивительное, порой раздражающее, всегда обаятельное.

Я тогда мало знал русский православный Париж, столь богатый, трогательно-живучий. Но я чуть-чуть открыл его, побывав в доме философа Владимира Лосского. Его уже не было, но его жена Магдалина жила у дочери Марии и зятя Жан-Поля Семона. Я открыл церковь на улице Петэль, Сергиевское подворье на улице Крима. Эта часть моего русского Парижа связана с противоположными открытиями. С одной стороны, я открыл удивительную для меня богословскую жесткость. Помню передачу на радио вместе с Константином Андрониковым, переводчиком Сергия Булгакова, толмачом генерала де Голля и известным богословом. Передача была о расколе, и я еще помню мое удивление, когда услышал из уст этого блестящего человека повторение осуждения старой веры. В православном молодежном центре в Монжероне на конференции об отце Сергии Булгакове прения были напряженными, острыми. Дети Владимира Лосского опубликовали его краткие воспоминания на французском языке о «странной войне» 1940 года. Желание Лосского участвовать в защите Франции и даже некий французский мистицизм были совсем неожиданными, очень трогательными и открыли мне еще один аспект русской эмиграции во Франции.

Мы здесь касаемся малоизученной темы симбиоза русской эмиграции с Францией, с некоторой даже мистической Францией. Для меня лично это была встреча с Владимиром Волкоффом, гениальным автором «Настроений моря», «пером французом и русским сердцем», как я его назвал в одной книге. А второй пример — это не менее гениальный художник, график, иллюстратор и автор эпохальных мультипликационных фильмов — Александр Алексеев. Он так же талантливо иллюстрировал Жироду, как и Достоевского, Мальро, как и Пастернака. Своим ярким искусством, своей личностью с острым умом и русской тревогой он олицетворяет тайну алхимии русского Парижа.

В Женеве, познакомившись с Вадимом Андреевым, Марком Слонимом и Владимиром Варшавским, я открыл еще другие слои эмиграции и русского Парижа. Книга Варшавского «Незамеченное поколение» раскрывает нам другую сторону русской эмиграции, с минорным, но глухо болющим трагизмом. Владимир Сергеевич был человеком удивительным: спортсмен и философ. После монпарнасской богемы и трагедии его друга Поплавского Варшавский как бы нашел покой, доплыл до порта. «Трансцендентальная униженность» (говоря словами Поплавского в «Аполлоне Безобразове») прошла. Он себя чувствовал набоковским Цинциннатом, приглашенным на казнь. Но он пережил казнь, он открыл новое лицо России, лицо Александра Солженицына, и было впечатление,

что связь времен восстановлена. Марк Слоним рассказывал об Учредительном собрании — он был самым младшим депутатом. А Вадим Леонидович рассказывал о своем участии во французском Сопротивлении и скрывал знакомство с Солженицыным...

В Париже я всегда был провинциалом. В Париже мои русские собеседники студенческого времени (когда я еще ничего не знал) и взрослого времени (когда я уже кое-что знал) были белоэмигрантами первой волны, беглецами второй волны (ди-пи) или просто русскими европейцами, как Шлёцер, он же Boris de Schloetzer. Эти кочевники, причалившие на время к берегам Сены, как Борис Зайцев, задавались вопросом: «Если спросить тебя, Париж, куда идешь, что ответишь? Тесная Лютеция на островке, мрачный Париж Средневековья и Notre Dame, блеск королей, шум завоеваний, роскошь революции, кровь, нищета, снова отели Крийон и закоулки у Себастополь...» В заключение этого медитативного монолога Зайцев как будто видит будущие обломки Вавилона. То есть и это великолепие пройдет. «Тогда испытываешь и жалость, и любовь к этим голубеющим теням русского Парижа».

Ему, как и многим, не было дано вновь увидеть Россию. В тот единственный раз, когда я был у Набокова (а было это 20 мая 1977 года в гостинице «Монтрё-Пале»), — я схитрил. Зная, как он не любит надписывать книги, я захватил с собой его книжку — «Стихотворения (1929–1951)». Он удивился, обрадовался и надписал. А там была «Парижская поэма»:

С полурусского, полузабытого  
переход на подобье арго.  
Бродит боль позвонка перебитого  
в черных дебрях Бульвар Араго.  
Ведь последняя капля России  
уже высохла! Будет, пойдем!